

**ЗИНАИДА
ГИППИУС**

БЕЗ

ТАЛИСМАНА

Зинаида Николаевна Гиппиус

Без талисмана

Аннотация

«По широким, мертвым линиям Васильевского острова гулял ветер. Керосиновые лампочки в фонарях мигали и совершенно не светили. При мерцании поздней мартовской зари можно было рассмотреть обледенелые куски серого снега посередине улиц и мокрые, узкие тротуары. В домах, несмотря на ранний час, окна чернели неосвещенные. И дома здесь были ветхие деревянные, большею частью серые, с мезонинами. Только у самого Малого проспекта возвышался громадный пятиэтажный дом, который, среди плоских строений вокруг, казался еще выше – и удивительно было, кому это вздумалось выстроить его на такой дальней линии...»

Содержание

Часть первая	4
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Зинаида Гиппиус

Без талисмана

Часть первая

I

По широким, мертвым линиям Васильевского острова гулял ветер. Керосиновые лампочки в фонарях мигали и совершенно не светили. При мерцании поздней мартовской зари можно было рассмотреть обледенелые куски серого снега посередине улиц и мокрые, узкие тротуары. В домах, несмотря на ранний час, окна чернели неосвещенные. И дома здесь были ветхие деревянные, большею частью серые, с мезонинами. Только у самого Малого проспекта возвышался громадный пятиэтажный дом, который, среди плоских строений вокруг, казался еще выше – и удивительно было, кому это вздумалось выстроить его на такой дальней линии.

Впрочем, дом только по сравнению казался великолепным. Он был грязен, с маленькими окошками. На самом верху два окошка были освещены.

Вера засиживается поздно. С марта у нее экзамены, уже последние – она кончает педагогические курсы. Вера боится

экзаменов, потому что у нее память очень плоха, да и усваивает она нелегко. Каждый год экзамены стоили ей многих бессонных ночей, волнений – а теперь в особенности не хочется осрамиться, потому что она кончает... Да и кроме того у Веруни были свои причины.

Сегодня Вера не собиралась сидеть ночью. Экзамен будет еще послезавтра – и самый легкий. В девять часов она сложила книги и вышла из своей крошечной комнатки, – где едва можно было повернуться, – в столовую, тоже маленькую и тесную. В столовой кипел самовар. Анна Федоровна – пожилая особа в ситцевой кофточке, с убитым выражением лица и слезящимся взглядом, – собиралась разливать чай. Горесть не покидала лица Анны Федоровны с самой минуты смерти ее супруга, чиновника окружного суда; умер этот достойный человек лет десять тому назад, оставив вдове двух малолетних дочерей и крошечную пенсию.

Несмотря на силу уныния, овладевшего Анной Федоровной, – она в эти десять лет не умерла и не наделала глупостей, а, приноровившись к новому положению и невероятно экономничая, успела старшую дочь, Веруню, поставить на ноги. Младшая, Люся, четырнадцатилетняя девочка, ходила в гимназию.

Но энергия ее скрывалась под вечно угнетенным и обиженным видом. Ничто не могло прогнать кислого выражения на ее лице, и самая улыбка была такая, что другому невольно становилось досадно и он думал про себя: «Вот нюня про-

тивная! Хоть на кого тоску наведет!».

– Что же это, ты уж кончила, Веруня? – протянула Анна Федоровна, увидев дочь.

Веруня подошла и поцеловала свою мать в щеку.

– Завтра позаймусь, – сказала она. – Я что-то устала.

– Не придет он сегодня, напрасно ждешь, – отрывисто выговорила Люся, которая сидела тут же, за столом.

Люся была не по летам высока, очень худа, бледна до прозрачности, с крошечным личиком. Большие зеленоватые глаза ее с темно-рыжими ресницами смотрели злобно и завистливо. На голове у нее был надет беленький чепчик с прошивками, завязанный под подбородком. Люся недавно выдержала опасную болезнь. Ей выбрили голову, и с тех пор она носила чепчик.

Вера и не взглянула на сестру. Она лишь чуть-чуть покраснела и сказала кротко:

– Я и не жду никого.

– Неправда, неправда, – закричала Люся. – А зачем волосы примачивала? И, главное, все равно торчат, как ни примачивай. Ты Павла Павловича ждешь, – вот кого!

У Веры были коротко остриженные гладкие каштановые волосы. Спереди они спускались на лоб, но в одном месте не лежали прямо, и Люся беспрерывно смеялась над вихром сестры, хотя этот вихор ее несколько не портил. Наружность Веры не бросалась в глаза: среднего роста, не худая и не полная, с нежным личиком и карими глазами, она была такая

тихая, каких очень много на свете. Она не любила спорить и ничего не ответила Люсе. Люся блеснула злыми глазами и опять собиралась чем-то уязвить, когда в передней тупо звякнул колокольчик.

Веруня откровенно и радостно вскочила, поспешно зажгла свечу и побежала в темную переднюю отворять гостю. Анна Федоровна вздохнула и подняла к потолку глаза, полные слез. А Люся ядовито захохотала.

II

– Что, вы сегодня не занимаетесь? – говорит гость Веруне, входя в столовую и здороваясь с хозяйкой. – А я ожидал встретить у вас и вашу вечную Хорькову, и Киселеву, и Володю Домбржицкого...

– Нет, Киселева завтра придет, – проговорила Вера, смущаясь. – А Домбржицкий... ведь вы знаете, Павел Павлович, что мы с ним немного поссорились...

– Как же, говорил он мне, – весело подхватил Павел Павлович. – Ну, да я думал, что вы давно уж помирились.

– Почему это? – и Вера еще больше вспыхнула. – Я несколько не намерена терпеть его выходки...

Павел Павлович засмеялся.

– Не сердитесь, не буду. А Домбржицкий в сущности добрый малый и мой хороший приятель.

Разговор завязался. Даже Анна Федоровна приняла в нем

участие, только Люся угрюмо молчала.

Павел Павлович Шилаев был человек лет двадцати шести, плотный, широкий, сильный, с открытым, довольно веселым лицом и голубыми глазами. Светлые усы и бородака придавали ему сходство с молодым крестьянским парнем. Волосы он стриг под гребенку, и они поднимались надо лбом приятной щетиной. Он был одет небрежно, – в цветной рубашке с отложным воротником.

– Теперь вам, значит, только диссертацию написать, – промямлила Анна Федоровна. – И будете профессором. Слава Богу, экзамены-то кончили...

– Да, кончил. Но ведь на диссертацию лет пять нужно, не меньше. О профессорстве я пока не помышляю. Другое на уме, Анна Федоровна. А пока вот улетучиваюсь на той неделе – в деревню, к отцу с матерью, съезжу.

– Вот как! Надолго?

– Да на все лето. Там, в Харьковской губернии, отлично. Я вообще в Петербурге жить не стану.

И он взглянул исподлобья на Веру. Вера скрывать своих чувств не умела. Она сидела бледная, опуская все ниже и ниже голову. Разговор потух. Прошло несколько минут молчания. Вдруг Вера стремительно встала, точно решилась на что-то, и проговорила:

– Павел Павлович, вы хотели мои лекции по истории видеть; они сегодня у меня, Киселева принесла. Пойдемте в мою комнату.

Шилаев поднялся, сдвинув брови. Вера быстро вышла из комнаты.

Павел Павлович отправился за нею. Стакан его остался недопитым. Анна Федоровна вздохнула или зевнула, и принялась мыть чайную посуду, а Люсю послали спать.

Ш

Войдя в очень маленькую комнатку с одним окном, белыми обоями и железной кроватью у стены, Вера приблизилась к столу, где горела лампа под абажуром и были разбросаны книги и бумаги. Она села на стул, облокотилась, не оборачиваясь, и хотела что-то сказать Шилаеву, который следовал за нею, но вдруг, неожиданно для себя самой, упала головой на стол и заплакала.

Шилаев молча опустился на кровать, рядом со стулом Веры, и смотрел на плачущую девушку. Он знал, что она его любит и плачет оттого, что он уезжает. Он знал тоже, что своим единственным словом может ее утешить – и не торопился сказать это слово.

Он глядел на белую шейку под светом лампы, на затылок с короткими каштановыми волосами, между которыми кое-где сверкали золотистые искорки. Узенькие плечи Веруни вздрагивали от рыданий. Наконец, она приподняла голову, не отнимая левой руки от лица, а правой достала платок из кармана. Потом, утерев глаза, она робко и жалко взгляну-

ла на Шилаева. Он сидел по-прежнему на кровати.

– Не сердитесь, – тихо сказала Веруня. – Я такая глупая. Теперь, во время экзаменов, я из-за всяких пустяков...

Но она остановилась. Ей не хотелось лгать и выдумывать; напротив, сердце рвалось сказать ему все, во что бы то ни стало; пусть он не любит, – не надо, – но надо, чтоб он знал и чтобы она сама ему сказала. Но в последнюю минуту смелости не хватило и Веруня опять только заплакала, прижимаясь лицом к столу.

Шилаев чуть-чуть подвинулся влево и взял ее за руку.

– Вера Владимировна... – сказал он.

Она не ответила, только заплакала еще сильнее. Вдруг она почувствовала его совсем близко, – руку его вокруг своей талии, а румяные губы около лица. Через минуту она была уже совсем в его объятиях; он целовал нежное, мокрое от слез личико, гладил стриженные волосы. Веруня не сделала ни одного движения, не смела сказать ни слова: ей казалось, что это ей снится и ничего этого нет в действительности. Никто никогда не целовал ее. Что значат его поцелуи? Неужели?..

Шилаев повторял тихо:

– Ну, зачем? Зачем плакать, Веруня? Зачем?

– Люблю... – сказала Веруня так тихо, что сама едва слышала, но он тоже слышал, – верно потому, что прижал ее еще крепче к себе.

Кто-то прошел по коридору мимо двери. Шилаев выпустил Веру. Она опять сидела у стола. Щеки у нее горели и

все кружилось перед глазами. Что же это такое?

– Милая... – сказал Шилаев, улыбаясь. – Ну, о чем было плакать? Будете моя? Все вместе, все пополам, да?

Веруня, не смея говорить, не смея глядеть на него, кивала головой.

– Вон какая вы растрепанная, – сказал он. – Дайте-ка я вас причешу.

Он встал, взял гребенку со стола и приглаживал ей упрямый вихор на лбу; потом поднял ее лицо за подбородок, заглянул в глаза и опять крепко поцеловал в самые губы.

Долго просидел Павел Павлович в этот вечер. Анна Федоровна, узнав, что ее Вера хочет выйти замуж за Шилаева, целых полчаса плакала, хотя в душе была рада. Потом объявила, что все-таки у невесты послезавтра экзамен и следует же лечь спать. Вера, вся красная, с блестящими глазами, уверяла, что она успеет выспаться. Однако, в два часа Шилаев ушел. Вера со свечкой вышла провожать его на холодную лестницу.

– Смотрите же, пока никому, – улыбаясь, говорил Павел Павлович.

Вера кивала головой.

– Нет, нет, я сама не хочу...

Вдруг она остановилась и взглянула ему в лицо счастливыми глазами без мысли.

– А Домбржицкий-то? – выговорила она.

И оба они звонко и весело расхохотались, почти без при-

чины, прямо потому, что хорошо было на душе.

IV

Павел Павлович жил на Владимирской. Но, несмотря на дальность расстояния и поздний час, он решил идти домой пешком. Ему хотелось обдумать свой поступок. Так ли все случилось, как он ожидал? И нужно ли было этому случиться?

На набережной сырой ветер охватил его. Небо уже заалело на востоке, почти незаметно. Едва-едва обнаженные камни мостовой блестели у фонарей. Изредка проезжал ночной извозчик и встряхивал, не жалея, бедного седока на выбоинах весенней дороги.

Павел Павлович шел и не уставал. Нельзя сказать, чтобы он был беспредельно счастлив. Ему не хотелось ни прыгать, ни петь; он не повторял слов Веры, и даже думал не исключительно о ней. Он давно знал, что Вера его любит – и месяца два уже знал, что он женится на ней. Теперь и с этим делом кончено. Жизнь идет вперед. Павел Павлович не был счастлив, но ему было так хорошо, бодро и приятно, как, верно, бывает новому блестящему локомотиву с крепкими винтами и прекрасными гайками, когда он готовится полететь вперед. Ощущение силы, здоровья и полноты верно поставленной жизни – успокоительно радовало Павла Павловича.

Со времени поступления в университет, в Петербурге, да

и в последних классах гимназии, Шилаев наметил свою дорогу. Не было товарища лучше его. Он изо всех сил старался быть строгим к себе и не терпел с собой никаких компромиссов. Когда в университете его товарищи разделились на несколько кружков, – он без колебания пристал к кружку «народников» и до конца упорно собирал у себя единомышленников, читал рефераты и искренно отдавался всему, что близко этому делу. Окончив филологический факультет, он сейчас же хотел ехать в деревню, в сельские учителя. Но профессор уговорил его держать экзамен на магистра., Павел Павлович выдержал экзамен. Но диссертацию решил писать потом, явился к своему профессору и опять просил его похлопотать о месте.

Шилаева не тянуло неудержимо в деревню. Но он знал, что поступит подло, если будет жить не по своим убеждениям, – и потому выбора ему не было. Из двух положений, из двух мнений – Шилаев сейчас же видел наиболее честное, а потому и наиболее верное, и выбрал его. Жить в Петербурге, получать деньги и наслаждаться столичными удобствами – казалось ему невозможным, несовместимым с его уверенностью, что следует каждому, кто знает, идти к тем, кто не знает; каждому, кто имеет, идти к тем, которые не имеют.

Для трудного дела нужно было Павлу Павловичу помощницу. Это он знал твердо. И лучше Веры помощницы ему нельзя было придумать. Когда, полгода тому назад, Павел Павлович познакомился с худенькой, скромной педагогич-

кой – он сразу увидел, что из этого может выйти. Вера стояла на распутье. Всегда, с тех пор как она себя помнила, она была одинока. Никто не «воспитывал» ее, никто не разговаривал с ней о том, что ее интересовало. Анна Федоровна, отдав дочь в гимназию, совершенно успокоилась. «Чего уж мне соваться? там лучше меня воспитают да научат». Одна, слишком слабая и робкая, чтобы самой что-нибудь решить, думать о чем-нибудь с уверенностью, Вера жила в каком-то ожидании, не смея ничего хотеть и почти машинально исполняя все, чего от нее требовали. Она пошла на курсы – потому что многие из ее подруг пошли на курсы; она была бедна, а с курсов лучше можно было доставать уроки. Время бежало. Когда Вера познакомилась с Шилаевым, вся ее нежная душа была открыта, готова повиноваться, поверить всему, что ей скажут, пойти всюду, куда поведут. Если бы он сказал ей, что нужно идти в монастырь, наложить на себя тяжелые обеты, молиться, – она молилась бы, ушла в монастырь и не видела бы другой правды, кроме Бога. Но он сказал ей не то, повел в другую сторону, – и она с убеждением покорилась. Зная, как надо думать, – Вера стала смелее, тверже и спокойнее. Как просто, как хорошо! Какой он умный и сильный! Вот где истина, и другой нечего искать.

Вера теперь понимала, что все люди разделяются на таких, у которых есть хлеб, и на таких, у которых нет хлеба. И надо стремиться к тому, чтобы у всех был хлеб. Тогда и наступит полное счастье! Как мертвому ничего не нужно, кро-

ме земли, так живому – ничего, кроме хлеба. И на вес, чуждое хлебу, Вера смотрела испуганными и недоверчивым!! глазами: оно только задерживало наступление будущего счастья. Кроме убеждений, у Веры было сердце, ее собственное, и очень нежное. Она полюбила Шилаева, и теперь, сделавшись его невестой, она была бесконечно счастлива и готова на всякий подвиг.

Павел Павлович знал это, и радовался, что на хорошее дело, на хорошую и верную жизнь у него есть помощница.

Большая серая глыба снега лежала у запертого переезда через Неву, на Дворцовой набережной. Шилаев почему-то остановился и смотрел на эту глыбу при свете зари. Порывы мокрого морского ветра, соленого и резкого, летели по белой поверхности реки, налетали на глыбу, обвивали ее – и Шилаеву казалось, что она дрожит и колеблется, и вся тает, и опускается под этим тяжелым, сырым и бессмысленным ветром. Завтра ее уже не будет наверно: ветер ее съест... Павел Павлович вздрогнул, нахмурился. Эти мысли удивили его и не понравились. Он закутался плотнее в довольно легкое пальто и прибавил шагу.

V

В холодный и ясный апрельский день товарищи и знакомые собрались на Николаевский вокзал провожать Павла Павловича. Собственно товарищей всего было двое, а зна-

комых – Вера Владимировна Прокофьева и ее подруга Киселева.

Вера пришла с Киселевой за целый час до отхода поезда и все время ходила с женихом по платформе. Непосвященная, но подозревающая многое, Киселева из скромности удалилась в дамскую комнату.

– Слушайте меня, Вера Владимировна, – говорил Шилаев. – Вы со мной не на праздник идете, а на тяжелую работу. Я вам ни счастья, ни радостей, ни веселья обещать не могу, а обманывать вас не желаю. Я профессором никогда не буду, карьеры не составлю и жизни своей не изменю, пока все, для меня теперь несомненное и ясное, не перестанет быть ясным и несомненным.

– Я думаю так же, как и вы, – твердо ответила Вера. – Нечего мне бояться. Приезжайте скорее.

– Раньше августа я вряд ли могу. – У Веры навернулись слезы.

– Перестаньте, милая. Я приеду в августе, сейчас же повенчаемся самым скромным образом – и в путь. Место мне будет непременно, профессор обещал.

– Вы мне напишете?

– Конечно. И вы пишите обо всем. А пока...

– Здравствуй, Павел! – раздался за ними тонкий, немного пришепетывающий, мужской голос. – Мое почтенье, Вера Владимировна!

Вера и Шилаев оглянулись. Перед ними стоял Домбжиц-

кий. Он был товарищем Шилаева еще по гимназии, в университете же пошел по юридическому факультету. Домбджицкий всегда как-то «лез» к Павлу Павловичу, и тот, не имея духу резко от него отвязаться, – терпел его, а в конце даже привык к нему. Домбджицкий был довольно высок, но весь какой-то кислый, отчего всегда вихлялся; каштановые волосы его лежали на лбу двумя недвижимыми, точно приклеенными фестонами, лицо красное, как у новорожденного младенца или у человека, просидевшего целую оперу в райке. Мутные глаза его были слабы и он носил дымчатые очки. Несмотря на все это – лицо Домбджицкого имело какую-то сладкую приятность, что он, очевидно, знал. Одет он был с иголки – он служил помощником присяжного поверенного.

Взглянув сквозь очки ревнивым, беспокойным взором на Веру, – Домбджицкий принялся изъяслять свое сожаление по поводу отъезда Павла Павловича. К ним подошел другой товарищ Шилаева, Будкин. Это был угрюмый господин с некрасивым, старообразным, но замечательным лицом. Он кутался в поношенную коричневую крылатку; взгляд его был упрям и пронзителен. Шилаев уважал Будкина. Он знал, что Будкин – человек с убеждениями очень твердыми, даже «немножко слишком» твердыми, грозящими превратиться в *idée fixe*¹. Но в нем чувствовалась сила, – сила бревна, летящего с крыши. Но разве во многих есть и такая сила?

¹ Неотступная, навязчивая мысль (*фр.*).

Пришла Киселева. Разговор вертелся на отъезде.

– Так ты в деревню? – глухо спросил Будкин. – Совсем?

– Нет, в августе вернусь. Дела кое-какие справлю – необходимые – и опять вот, из Петербурга, надеюсь, уже совсем.

Веруня покраснела. Ей и не хотелось, чтобы он сказал о их свадьбе, и хотелось. Ее смущал только Домбжицкий. Она знала, что Домбжицкий влюблен в нее. Сначала она и внимания не обращала на его признания, а в последнее время они стали ей просто противны. С отъездом Шилаева у нее пропадала вся уверенность, твердость голоса; она чувствовала себя опять одной, беспомощной, и всего боялась, и не верила, что было и будет счастье...

Ударил второй звонок. У Веруни в сердце стало холодно, голову сжало. Она глядела на Шилаева и, стараясь улыбаться, повторяла:

– Ну, что ж, ну, что ж!., пишите.

– До свидания, господа, – проговорил Шилаев, улыбаясь.

И вдруг, обернувшись к Вере, неожиданно прибавил:

– Будь здорова, дорогая, не скучай, жди меня... – Он обнял ее и при всех крепко поцеловал.

– Берегите мою невесту, господа, – сказал он, обводя всех взглядом. – И милости просим в августе к нам на свадьбу!

Вера, вся пылающая, уже не скрывала своих слез. Раздался третий звонок, Шилаев вскочил в вагон – и, стоя на площадке, раскланивался. Он еще успел крикнуть:

– Ты, Домбжицкий, не ревнуй Верочку ко мне. Делать

нечего. Будь шафером у нас. До свидания, Веруня, пиши!

Поезд вышел из-под навеса и скрылся из виду, а Вера все стояла и, плача, махала мокрым платком.

– Ну, пойдем, довольно, – сказала Киселева. Будкин, на которого неожиданное известие о помолвке Веры не произвело ни малейшего действия, – подал барышням руку, сказал угрюмо: «прощайте» и с угрюмостью стал удаляться. На Домбржицкого он обратил также мало внимания, как если бы это была старая пуговица, валяющаяся в канаве. Домбржицкому было тоже не до Будкина. Он подошел к Вере, весь изогнувшись, краснея и бледнея, и произнес:

– Честь имею поздравить... Замуж, значит, изволите выходить?

Вера беспокойно оглянулась и сказала:

– Да. Благодарю вас.

– А нас, значит, не требуется больше? Жаль. Только не пожалейте и вы когда-нибудь, Вера Владимировна. Дерево клоните не по себе. Упадет – придавит, смотрите.

– Я не люблю загадок, – холодно ответила Вера. – Что будет – то будет. До свидания, всего хорошего.

И она, взяв подругу за руку, пошла в вокзал.

Домбржицкий остался, и в хитрых, мутных глазках его засветилась смертельная досада. Может быть, синие очки так отсвечивали, – но, кроме досады, его глаза выразили горе и боль душевную.

VI

Приходили письма от Павла Павловича. Вера читала их с жадностью, отрываясь от шитья приданого. Экзамены она кончила довольно благополучно и теперь вся погрузилась в скатерти, простыни, кофточки, шила и кроила с большим усердием, чем прежде, повторяла лекции по истории. Ведь эти кофточки были связаны с ее будущей жизнью, со всей ее любовью, с его приездом... Павел Павлович писал, что он скучает без дела, что хутор их стоит совсем уединенно в лесу; деревень близко нет; что единственная его забава – бродить по лесу с ружьем. Охота укрепляет его физические силы и дает нравственную бодрость. Он писал тоже, что уехал бы раньше, да жаль отца с матерью. Они совсем одни; девять человек детей все разбрелись в разные стороны. Вряд ли придется скоро опять к ним приехать... Вот и надо оставаться теперь, пожить.

«Был я в Харькове, – писал Павел Павлович, – в своем родном городе, где учился в гимназии. Как все изменилось! Прежних знакомых почти нет никого. Жил у меня там дядя, тоже хуторок у него маленький под самым Харьковом; вообрази, чудак женился и уехал за границу! И уж немолод он, отставной генерал. И на ком женился? Впрочем, ведь ты ничего не знаешь. Расскажу лучше при свидании. Приеду теперь скоро, жди меня, милушка моя...»

Веруне все было интересно в письмах Павла Павловича. Нежные слова, которых, впрочем, было немного, – ибо Павел Павлович полагал, что все нежное лучше и проще выходит при свидании, – она целовала и потом прятала письмо на груди. Вечером она его вынимала, теплое и смятое, перечитывала и отвечала. Хорошо жилось Вере этим летом, среди скатертей и наволочек, в тесной, жаркой комнатке на Васильевском острове. Одна Люся огорчала ее порою. Как ни добра и кротка была Веруня с сестрою, – девочка ее положительно ненавидела. И Вере иногда жутко становилось под взглядом прозрачных зеленых глаз сестры, при встречах в коридоре. Люся дома уже не носила чепчика, ее круглая голова была покрыта теперь тонкими редкими волосиками светло-красного цвета. В полутьме коридора, летним вечером, они сверкали, как огненные искры. Веруня спешила пройти мимо молча. И Люся молча следила за ней глазами.

VII

Наконец, наступил август. И приехал Павел Павлович. Он приехал не веселый, а какой-то раздражительный, задумчивый, точно его беспокоила неотвязная забота. С Верой он поздоровался ласково, но немного рассеянно.

Вера еще больше присмирела, не смея спрашивать своего идола, как он провел лето и почему кажется недовольным.

Комната на Владимирской, где жил прежде Шилаев, была занята. И это его рассердило. Он взял грязный и дорогой номер в Пале-Рояле, на Пушкинской, и эта грязь и дороговизна непрерывно портили его настроение.

Веруня как-то пришла к нему. Он принял ее сурово и злился, пока она осыпала его бестактно-наивными вопросами, почему он живет в гостинице, сколько платит, и отчего стекла в окнах такие мутные?

Он сказал Веруне прямо, что не желает видеть ее у себя до свадьбы; в гостиницу ей ходить нехорошо.

До сих пор Шилаев получал из дому каждый месяц тридцать рублей, остальные зарабатывал хорошими уроками. Пожив на хуторе у отца, он увидел, что старики высылают ему не «его долю» – как они говорили, – а просто содержат его на скудные доходы с именица. Тридцать же рублей в их скромном обиходе были далеко не лишними.

Убедившись в этом, Павел Павлович почувствовал себя глубоко оскорбленным. Как, он жил на счет родителей, без всякого зазрения совести! Он не мог простить себе своей беспечности, а им – наивного обмана, и дурное настроение не покидало его. А тут еще свадьба! Деньги у него пока были, – но следовало спешить начать скромную жизнь в глухом уголке и не брать у родителей, – а еще им посылать. Для этого Павлу Павловичу нужно было место, – и он пошел к профессору.

Профессор был человек очень усталый, больной, с худым

лицом и редкими волосами. В Шилаеве он принимал всегда живое участие. Теперь он встретил его радостно и сказал:

– Здравствуйте, мой молодой друг. Что, не оставили еще своего намерения уединиться в глуши? Поговорим, поговорим...

– Я не только не оставил, г. профессор, но еще утвердился в своем намерении. И надеялся на вас...

– Милый друг мой, место для вас готово, не совсем такое, о каком вы мечтали, – но почти. Послушайте меня. В деревню, в сельские учителя, – учить крестьянских детей азбуке, – идут бедные люди, которые не имели возможности кончить своего образования. Идут и девушки. Им это кусок хлеба, которого они иным путем добыть не могут, потому что на другое более сложное дело не способны. На это же они способны, пожалуй, больше вас, потому что меньше учились, проще смотрят и сами ближе стоят к людям, с которыми входят в соприкосновение. Отправившись учителем в сельскую школу, вы лишите бедного семинариста куска хлеба, оставите его без дела, потому что ведь не пойдет он держать за вас магистерского экзамена...

– Позвольте, г. профессор, – прервал его холодно Шилаев. – Вы рассуждаете со мной, как с ребенком. Все, о чем вы говорите, я давно знаю. Но мне кажется, что не школы существуют для учителей, для их куска хлеба, а мы, учителя, – для школ, для народного образования, для души народа. Зачем я учился лишних семь лет, если не могу передать мое

знание другому лучше, чем какой-нибудь семинарист? Для меня исчезает цель науки. Я понимаю не науку для науки, а науку для пользы...

Шилаев одушевился, он говорил бы еще долго, если бы профессор не остановил его испуганно:

– Позвольте, позвольте, молодой человек, я вовсе и не думаю с вами спорить о бесполезности пользы... Напротив, я весьма уважаю всякую деятельность, приносящую немедленные и обильные плоды. Каждый прав с своей собственной точки зрения, – прибавил он уклончиво. – Сохрани Боже, не хочу отговаривать вас, если вы решились приложить свои знания к делу... Я уважаю всякие убеждения. Теперь, видите ли, друг мой, я имею предложить вам пока место учителя-прогимназии в Хотинске, маленьком южном городке, пятнадцать верст от железной дороги. Оттуда, если вы пожелаете, вам будет гораздо легче перевестись в село; даже очень легко... – поспешно прибавил профессор, видя, что лицо Шилаева омрачилось.

– Советую вам взять это место, – продолжал профессор. – Если это и не совсем то, чего вы хотели, то приблизительно то же, и в ожидании более подходящего можно взять его со спокойной совестью.

– Вы уговариваете меня опять, как ребенка, – угрюмо сказал Шилаев, – смотрите на мое желание, как на прихоть, детскую затею...

Профессор улыбнулся.

– Я вижу, что вы действительно ребенок, если думаете, что ваши намерения и ваши мысли для меня внове. Давно уже я в университете; и, знаете, все мои студенты – не хочу сказать: «ученики» – разделяются на три группы: либо карьеристы, и таких большинство; либо сухие ученые; либо такие, как вы. И вот такие-то выходили до сих пор самыми дельными, самыми честными, общепризнанными хорошими людьми – ну, и чего ж еще надо? И помогай вам... судьба, а я благословляю... Мой принцип – уважать всякие убеждения, если они искренни... А вы вот не верите, что я вам от души советую взять это место... Вы не связаны, – поживете, выберите там что-нибудь и более по сердцу. Решайтесь-ка, а?

Профессор подошел к Шилаеву и взял его за руку.

– Благодарю вас, г. профессор, – сказал Павел Павлович по-прежнему мрачно. – Если позволите, – я подумаю.

VIII

Целых три дня думал Шилаев. Он чувствовал, что, принимая это место, он делал какую-то уступку себе, отклонялся в сторону, чуть-чуть, – но отклонялся. И ему почему-то страшно было этого отклонения, хотя, начиная рассуждать благоразумно, он видел, что это почти одно и то же, и ему следует взять место. Посоветоваться с Верой ему и в голову не приходило. Он с давних пор и непоколебимо был уверен, что она найдет хорошим все, на чем он остановится. И

это казалось ему естественным: она должна, как более слабая, быть вполне под его влиянием. Раз приобретя его, Павел Павлович намеревался вести себя с невестой и женой так, чтобы уж никогда это влияние не утратилось.

Исчезло у Павла Павловича бодрое чувство готовности, силы на трудную, приятную и верную дорогу. Он, мрачный и бледный, почти больной, просидел эти три дня у себя в номере. Наконец, его нерешительность показалась ему трусостью. Неужели такие пустые отклонения имеют власть над ним, над его желаниями, над его волей? Вздор.

И он пошел к профессору и сказал, что берет место в Хотинске. Через полторы недели праздновали свадьбу в маленькой квартирке на Васильевском острове. Шилаев, после своего решения, вдруг сделался опять весел, как прежде, шутил с Веруней, говорил, что они будут богачами в Хотинске с жалованьем в 45 рублей и готовой квартирой в две комнаты. Веруня была как в тумане. Ей все нравилось.

Венчанье происходило в церкви в восьмой линии острова, в час дня. Веруня была в простом коричневом платье, которое даже и сидело не особенно хорошо. Это было дорожное платье, которое, для экономии, Веруня и Анна Федоровна шили сами. Было несколько товарищей Шилаева, между ними Домбржицкий, одетый во фрак и, к общему удивлению, бледный. Барышни, подруги Веруни, почти все были в темных платьях, а потому и белый жилет Домбржицкого казался как будто не у места. Анна Федоровна разливалась рекой.

В церкви она несколько раз принималась даже рыдать, так что тоненькая Люся сердито дергала ее за платье и сверкала глазами из-под длинных рыжих ресниц. Веруня тоже плакала, что Шилаеву было неприятно, потому что – он видел – она придает значение обряду, который для него был только необходимостью.

Венчанье кончилось. Анна Федоровна бросилась на шею дочери. Павел Павлович машинально наклонился к Люсе и поцеловал ее. Он с каким-то странным, неприятным чувством дотронулся до сжатых губ девочки. Она не двинулась и не ответила на его поцелуй, а только близко взглянула ему в глаза. Он отвернулся молча.

Обед в квартире Анны Федоровны прошел как-то неловко. Нельзя грустить, – потому что эта была свадьба; и нельзя веселиться, – потому что молодые уезжали с пятичасовым поездом. И старинных обычаев свадебных нельзя было вспоминать, потому что Шилаев обрядности не признавал, да и вообще это было бы неуместно на такой свадьбе. Все обрадовались, когда Шилаев объявил, что пора ехать на вокзал.

Будкин не пришел на свадьбу. И Павлу Павловичу было это неприятно.

Вышли на улицу, сели на извозчиков и поехали. У Веруни в голове немного шумело от шампанского, к которому она не привыкла. Она была возбуждена, смеялась, много болтала и даже объявила, что на одном извозчике с Павлом Павловичем не поедет: мужа и жену следует разделять.

Услыхав это, Домбржицкий выскочил вперед:

– Вера Владимировна, у меня карета, позвольте вас довезти. Не откажите мне, умоляю вас!

Вера, как ни была смела от своих двух бокалов, – однако почувствовала что-то неладное, присмирела и взглянула на Шилаева. Тот сдвинул брови.

– Прошу тебя, Домбржицкий, будь тактичнее. В карете с тобой Вера Владимировна не поедет. А вот неужгодно ли, мы с m-lle Лебедевой уступим вам этого извозчика?

Он произнес все это очень громко и спокойно. Домбржицкий съежился и неловко стал подсаживать на извозчика смущенную до слез Веру. В карете поехала Анна Федоровна с Люсей; положили туда вещи.

Дорогой Вера почти не слушала Домбржицкого... Ей было больно и грустно, веселость прошла без следа. Домбржицкий просил ее помнить, что он принадлежит ей навеки, и если когда-нибудь он ей понадобится, – пусть она только слово скажет, одно слово...

Вера повторяла рассеянно: «да, да...» и думала о другом.

На вокзале, в суете и толкотне, Шилаев заметил стоявшего поодаль Будкина в его крылатке – и быстро подошел к нему.

– Отчего тебя не было на свадьбе? – спросил он.

Будкин улыбнулся, причем на желто-бледных щеках его образовались складки и морщины.

– Вот, пришел же проводить, – сказал он.

– Уезжаю, брат... Пожелай мне удачи. – Будкин взглянул

на него искося.

– А ты смотри, Шилаев, ты себе потачку даешь... Свернешься.

– Увидишь, – сказал Шилаев твердо. – Эх, тебе бы ехать тоже, не торчать здесь! Такие, как ты, нужны.

– Мое место здесь, – угрюмо произнес Будкин. – Пока не свезут, либо в больницу Николая, либо подальше, – дела не покину.

Бессмысленная сила слышалась в его словах. Видно было, что он, точно, с места не сойдет, пока не оторвут его. Но и чуждая разуму эта сила внушала невольное уважение.

Веруня плакала, рыдала, целовалась почти без разбора, – и уж поезд вышел из-под темного навеса, – а она все не могла успокоиться, сидя на сереньком диванчике второго класса против Павла Павловича.

Вагон был почти пустой. Шилаев смотрел в окно, желая дать Вере успокоиться. Наконец, не слыша ее всхлипываний, он обернулся к ней с улыбкой:

– Ну, что, довольно?

– Довольно, – ответила она, тоже улыбаясь сквозь слезы. –

Вы не сердитесь?

Как все молодые женщины, только что повенчанные и еще не близкие своим мужьям, она не могла заставить себя говорить ему «ты».

– За что же, милушка?... Надо только сдерживаться немного... А то я могу подумать, что ты меня не любишь...

Она подняла на него глаза, и в ее взгляде было столько преданности, что Шилаеву захотелось ее поцеловать. Но нельзя было: наискосок от них сидели старый военный и пожилая дама с собачкой.

Они принялись болтать вполголоса. Шилаев смеялся, глядя на Веру, которая совсем ожила. Когда стемнело и наступила ночь, Павел Павлович поднял спинку скамейки и предложил Вере лечь наверх. Сам он поместился внизу.

Поезд катился, погромыхая с ровным стуком. Пожилая дама не могла заснуть и все охала. Не спалось и Павлу Павловичу, и Вере. Вера даже дыханье затаила, боясь пошевелиться. И все прислушивалась, уснул ли Шилаев.

IX

В Москву этот поезд приходил только в четыре часа пополудни, так что молодые пробыли в вагоне еще почти целый день.

Все время они говорили о пустяках: Шилаев почему-то не заговаривал с Верой ни об их будущей жизни, ни о том, о чем так часто рассуждал прежде, еще не будучи женихом. Веруне было немного обидно.

«Что это, – думала она, – он не хочет быть со мною серьезным. А ведь был же прежде, и говорил со мной, как с равной»...

Ей о многом хотелось расспросить его, но она не умела

начать. А Шилаев рассказывал Веруне о домашних, о хуторе – и все с оттенком шутливости.

– Что ж ты не спросишь меня, был ли я когда-нибудь влюблен? – сказал он, усмехаясь.

– Нечего и спрашивать, наверно были.

– А представь себе, что нет! Ни одного разу, если не считать... хочешь, я расскажу тебе мое единственное романтическое приключение? Садись сюда, со мной рядом, а то седой полковник на тебя заглядывается, и я ревную.

Веруня пересела на скамейку рядом, Павел Павлович обнял ее одной рукой. Поезд мчался среди желтых пустых полей (хлеб уже убрали). За Тверью станции не близко одна от другой.

– Я сказал «единственное», но ведь ты понимаешь, – и обманывать я тебя не хочу, – что мое приключение – «единственное» в таком... как это?.. высшем роде, в смысле духовных чувств... Но ведь ты не воображаешь меня святым, – надеюсь, нет?

Веруня вспыхнула и отрицательно покачала головой.

– Ну, и прекрасно. Слушай. Это тем более интересно, что не длинно. Лет шесть тому назад, когда я поступил на первый курс... даже еще не поступил, а должен был поступить осенью – я отправился гостить в имение к одним знакомым недалеко от нас, под самым Харьковом. Туда съехалось много барышень, были и кавалеры. Я за всеми барышнями ухаживал, но нравилась мне не барышня, а девочка, тоже гостья.

Ей было двенадцать-тринадцать лет, но на вид ей казалось гораздо больше. Гостила она одна, но я знал, что она всегда живет в Харькове с бабушкой, что других родных у нее нет и обе они, – и внучка, и бабушка, – очень богаты. Звали девочку Тоня. Сам не знаю почему, но нравилась она мне страшно.

– Она была хорошенькая?

– Очень. Смуглая, довольно полная, с черными, даже сине-черными волосами и продолговатыми глазами, тоже темными. Но, главное, нравилась мне ее смелость, просто невероятная, и еще что-то – я тебе объяснить не могу, – но, должно быть, то, что у нас с ней ни единой черты похожей не было, ни в наружности, ни в характере.

– Ну, и потом? – спросила заинтересованная Вера. Она подумала в эту минуту: «а у меня столько похожего с ним, и я хочу быть похожа на него, думать, как он, делать, как он... И он любит меня...»

– А потом, – продолжал Павел Павлович, – случилось то, что через неделю я уже не отходил от Тони, хотя мы вечно ссорились, но и мирились по вечерам в липовой аллее. Она преспокойно назначала мне свиданья.

– Какая испорченная девчонка!

– Ну, нет. Представь себе: в липовой аллее я вздумал ее поцеловать. Она отстранила меня и спрашивает: «вы хотите, кончив университет, жениться на мне?» Она ужасно мне нравилась; было мне девятнадцать лет, и я подумал, что, может быть, и женюсь действительно. Об ее богатстве я и забыл

в ту минуту. Да, говорю, хочу. Я вас люблю. Она подумала немножко и отвечает: «И я вас люблю, кажется. Обещаюсь выйти за вас замуж. Можете меня поцеловать».

– И ты поцеловал? – вскрикнула Веруня, с новым для нее, жгучим чувством боли в сердце и даже не заметив, что она сказала «ты» Шилаеву.

Тот обнял жену и, целуя, повторял:

– Поцеловал, но гораздо хуже, и не столько раз, и не так крепко, как тебя, как тебя!.. – Вера отстранялась; ей вдруг захотелось плакать.

– Так ты не хочешь слышать конца моей истории, Веруня? Да ты, кажется, ревновать меня вздумала? Ведь это шесть лет тому назад было! И слушай скорей: с того вечера я ее не видал. Уехала она в Харьков рано утром, к своей драгоценной бабушке, и через два дня только я получил от нее письмо, написанное совершенно детским почерком и не без ошибок. Пишет, однако, преважно: «хотя вы мой жених, однако я сочла за лучшее в эти четыре года нам не видаться и не переписываться. А потом, когда увидимся, обрадуемся еще больше».

– И все? – спросила Вера.

– Самое курьезное – конец. Вообрази, в эту мою поездку домой, я узнал, что Тоня вышла замуж в апреле месяце за моего дядю, отставного генерала Рагудай-Равелина. И вышла после какой-то истории... за достоверность которой, впрочем, не ручаюсь. Бабушка ее умерла в январе, а в апреле

дядя Модест Иванович женился и уехал с женой, кажется, за границу.

– А что он богат, дядя?

– Нисколько; да ведь она богата. У нее тысяч четыреста или больше.

– И дядя старый?

– Пожилой, но еще молодец. Был когда-то очень красив. А она, говорят, какая прелесть стала!

Вера молча смотрела в окно.

– Веруня, тебе не понравилась моя история? Перестань, – прибавил она серьезнее. – Я не люблю, когда поступают против здравого смысла. Если ты меня любишь и веришь – значит никаким ревностям и всем этим вздорам между нами нет места... Да и некогда нам будет заниматься разборкой собственных чувствований...

Они подъезжали к Москве. Проехали Клин, Сходню, Химки – дачные местности московских чиновников с семьями. На каждой станции прибывали пассажиры. Стояла хорошая погода и переселение дачников еще не начиналось. Веруня жалась к стенке и молча прислушивалась к нецеремонным разговорам о дачных делах.

Х

– Где же мы остановимся? Мы об этом и не подумали, – сказал Павел Павлович, морща свои золотистые брови. –

Ведь скорый поезд на Курск идет завтра в одиннадцать утра.

– Я не знаю, где... – отозвалась Веруня. – Я никогда не была в Москве.

Они стояли в громадном, пустом товарном отделении вокзала, а перед ними, в ожидании, носильщик, нагруженный чемоданами и подушками.

– Поедем в меблированные комнаты «Петергоф», – решил Павел Павлович. – Гостиницы нам не по карману. Нанимай к манежу, – сказал он носильщику. И через несколько минут Шилаев и Вера тряслись на дребезжащем ваньке, среди своих чемоданов, по улицам Москвы.

Москва была жаркая, серая, сонная, потная, измученная проходящим летом. Красивые особняки на Мясницкой смотрели тупо белыми глазами замазанных окон. На многих вывесках скоблили золото. Из канавок около тротуаров поднимались тяжелые облака высохшей грязи. Александровский сад у Кремля был точно покрыт инеем, – так запылились деревья.

Наконец, показалась желтая, уродливо-длинная фигура манежа и на углу Воздвиженки извозчик остановился.

– Есть комната? Недорогая?

– Есть-с, пожалуйста.

Чемоданы выгрузили. Веруня с равнодушием глядела на незнакомый город и на грязную гостиницу, – она очень устала. Приехавшим показали узкую комнату с белыми обоями.

У стены стояла кровать, на окне болталась сизая от пыли

кисейная занавеска. Номер стоил пятьдесят копеек.

– Хорошо, мы здесь останемся, – решил Павел Павлович. – А нельзя ли принести другую кровать?

Веруня вспыхнула и подошла к зеркалу развязать вуаль и снять шляпу.

– Можно-с; не прикажете ли обеда подать?

– Давай, да поскорее. И самовар после обеда! Вечером Павел Павлович предложил Вере прогуляться.

Но оба они были утомлены и потому, пройдя немного по Кремлю и по Кузнецкому мосту, где было довольно темно и все магазины заперты, – вернулись в свой скромный номер. Он стал еще теснее, потому что против первой кровати поставили вторую, какую-то невероятно высокую.

Они напились опять чаю. Павел Павлович позвонил и велел разбудить их завтра в восемь часов. Потом запер дверь и взглянул на часы.

– Что ж, Веруня? Пора спать.

Они сидели за овальным столом, где еще не прибран был чайник и чашки, и горела одинокая свечка. Веруня была очень бледна. Странно! За эти сутки, проведенные вместе, она не только не привыкла к Шилаеву, не сроднилась с ним, как она думала; но, напротив, у нее было теперь непонятное чувство страха перед ним, а вместе с тем чувство своей беспомощности. Она смутно сознавала, что никакое ее желание не может быть им исполнено, если оно не согласуется с его желанием, да и не должно у нее быть своих желаний. Одну

минуту ей безумно захотелось вдруг очутиться дома, опять одной, и не знать, никогда не знать этого человека, не быть его рабой. Но только одну минуту; нет, все равно, пусть так!..

Зубы ее стучали, у нее сделалась лихорадка. Она завернулась в платок. Потом взяла свечу, поставила ее около своей кровати, на столик. Хотела начать раздеваться – но вдруг опустилась на постель – и сидела, не двигаясь. Шилаев молча следил за ней глазами. Он видел ее волнение, знал, отчего оно происходит – и все это ему не нравилось. К простым вещам следует относиться просто. Всякая возня, преувеличение значения, проволочки или «поэзия» там, где они совершенно не у места, – только отнимали время, затрудняли жизнь и поэтому сердили Павла Павловича.

Он медленно подошел к Веруне, сел с ней рядом на постель, обнял ее, заглянул в лицо, которое она отворачивала, и сказал спокойно:

– Веруня, ты меня боишься?

Она не отвечала. Шилаев чувствовал, как она дрожит.

– Послушай, Веруня, – продолжал он тем же спокойным тоном. – Ты мне делаешь очень больно, очень неприятно. Ты затрудняешь нашу совместную жизнь; ты отдаешься тому, что не главное; каждый камень на дороге ты принимаешь за цель или за неодолимое препятствие. Я тебе говорил, что будет много, много страдания и горя, и трудностей, и никаких радостей, кроме сознания, что мы с тобой живем разумной и верной жизнью. Если ты хочешь быть моей помощницей и

другом, – ты должна иметь власть над собой и мужество, как в пустом, так и в важном. Страдания придут все равно, будешь ли ты их встречать бодро, или плакать, трусить, жаловаться и отступать. Их нужно пережить. Теперь ты дрожишь, чуть не рыдаешь, не имеешь силы покориться перед необходимостью – сойтись со мной близко, а между тем рано или поздно мы должны сойтись, будешь ли ты падать в истерику, как институтка, или взглянешь на вещи просто и твердо, как я хочу, чтобы ты смотрела на все. Никогда не надо попусту тратить свои силы; еще нагорюешься, наплачешься! Я верю, дорогая, ты будешь смела и тверда в нашей трудовой жизни, если только любишь меня. А теперь, сегодня, ты такая дурная, неоткровенная, и все отдаляешься от меня. Я могу подумать, что ты меня и не любишь...

Веруня вдруг вскочила на постель на колени, бросилась на шею к мужу и, прижимаясь к нему, повторяла:

– Нет, нет, я тебя люблю, не обижай меня, я тебя люблю... Я буду такая, как ты хочешь; буду думать, как ты думаешь, идти с тобой, всегда с тобой, и пусть меня нет – один ты...

Шилаев молча обнял Веру.

XI

В крошечной «дамской» комнате, с кривым темным зеркалом и даже не малиновыми бархатными, а просто пеньковыми диванами, – сидела Веруня. Она дожидалась Шилаева,

который ушел хлопотать насчет извозчика в город. До Хотинска от станции было верст пятнадцать по скверной дороге. Она испортилась особенно в последние три дня, когда дождь шел не переставая.

В комнате пахло карболкой, а может быть, просто краской. В окна виднелся желтый, потемневший от дождя, забор станционного палисадника, где на обветренной куртине еще пламенела единственная георгина; дальше, за платформой, тянулся ряд неподвижных товарных вагонов, уснувших на запасном пути. Грустная мокрая собака жалась к стене дома: дождь шлепал с крыши, переливаясь через края водосточной трубы. На платформе, в уголку, ёжился жид, худой, тонкий, в картузе и в черно-зеленом сюртуке до пят. Два хохла, даже без свиток, в одних холщовых рубашках и высоких меховых шапках, прошли мимо окна размеренным шагом. Веруня глядела в окно машинально, почти ни о чем не думая. Лицо ее было бледно и утомлено до крайности. Шляпка съехала на бок; она не держалась на жидких, коротко остриженных волосах. Вера облокотилась на подоконник и ждала терпеливо.

Выехали не раньше пяти часов и приехали в Хотинск, когда уже стемнело. Шилаев был угрюм: его раздражало молчание Веры, ее утомленное лицо. Ему казалось, что она молчит нарочно и в душе упрекает его и за тяжелое путешествие от Москвы в третьем классе, и за эту жидовскую балагулу, в которой они среди темноты и грязи качаются и трясутся

пятнадцать верст. Он негодовал на ее бледность, и на себя, за то, что он как бы чувствует себя виноватым перед этой «барышней».

– Нет, нужно сразу поставить ее на должное место. Я поступлю нечестно, если буду баловать ее. Ей надо привыкнуть к жизни. Каждая минута моей слабости может принести ей несчастье в будущем.

И оба они молчали все пятнадцать верст.

Зная, что везет учителя, жид подъехал прямо к прогимназии. Скверный желтый каменный дом стоял совсем почти на выезде: огоньки города виднелись в стороне, за речкой. Едва добился Шилаев, чтобы ему показали его квартиру. Эта квартира была – маленький деревянный домик в три окошка на улицу, с покатою крышей. Прогимназия стояла наискосок от него. Внутри оказалось довольно чисто, новые дощатые стены, некрашенный пол. Из передней направо дверь вела в маленькую кухонку, а налево – в первую комнату, довольно просторную, в два окна. За ней была вторая комната, поменьше.

Жид внес чемоданы, явилась откуда-то разбитная старуха Устинья, которая принесла жестяную лампу и обещала поставить самовар. Устинья эта, как оказалось, служила у прежнего учителя, холостяка, и явилась на случай: не возьмет ли ее и новый? Мебели было очень мало. Стол, два стула, деревянная кровать без матраса... Но когда принесли самовар, разнокалиберные чашки, и Шилаев с Веруней сели пить

чай – им обоим вдруг стало весело: наконец-то они дома, в своей квартире, где так чисто и пахнет деревом; тут можно хорошо и скромно устроиться, можно жить уютно и счастливо.

Вера даже принялась было высказывать свои планы: где она что повесит и где что поставит – но Шилаев вдруг прервал ее. Он точно вспомнил забытое на минуту.

– Ах, Веруня, ты развлекаешься пустяками. Нам есть о чем подумать с тобою, кроме столов и занавесок.

Вера умолкла.

XII

На другой день Павел Павлович исчез с утра. Ему нужно было сходить в прогимназию, познакомиться и, наконец, представиться «начальству», как он выразился с досадной и злой улыбкой, разумея инспектора прогимназии. Он обещал вернуться к четырем и просил Веруню позаботиться об обеде.

Обед Веруня, без дальнейших рассуждений, поручила Устинье, а сама решила приобрести необходимую мебель, прежде чем заняться устройством квартиры. Она надела шляпку, взяла зонтик и вышла на улицу. Дождик не шел, но серые облака нависли низко. Дошлый тротуар тянулся под заборами. На улице было тихо, совсем тихо; только сви-нья, прохаживаясь посредине улицы, шлепала своими копы-

тами по толстому слою черной грязи. Очевидно, что поблизости не могло быть мебельного магазина, и даже какого-нибудь магазина; даже и человеческого существа не было, чтобы спросить, куда идти.

Веруня пошла наудачу, шла долго и уж совершенно отчаялась, когда вдруг увидела бабу в очипке перед воротами. Баба ничего не поняла, о каком магазине спрашивает Веруня и чего ей собственно нужно. Тем не менее она разразилась целым потоком малороссийских слов, из которых в свою очередь Веруня ничего не поняла. Тогда баба скрылась и через минуту вывела из ворот мужика с задумчивым видом. Веруня повторила свои вопросы.

Мужик задумался еще больше и молча смотрел на Веру не то с сожалением, не то с равнодушием. Потом вынул изо рта коротенькую загнутую трубку и промолвил, указывая перстом направо:

– Ходи по городу.

И скрылся за воротами. Делать было нечего. Вера отправилась направо. Скоро она вышла из переулка к реке и мосту, а за мостом уже видны были главы церквей и дома лучше.

С большими трудностями Вера достигла, наконец, главной улицы, которая называлась Московской. Под слоем грязи тут было шоссе. Тротуары положены в три доски. Но напрасно Вера искала мебельного магазина. Были лавочки с москательным и галантерейным товаром, табачный магазин,

очень порядочный, а больше ничего. Наконец, Вера в отчаянии зашла в какую-то большую лавку, где выставлены были игрушки, письменные принадлежности и белье.

– Послушайте, не можете ли вы мне указать, где я могу купить мебель? – робко спросила Вера у приказчика.

В магазине в это время была дама, еще нестарая, низенькая и полная, одетая с большими претензиями, впрочем, по моде прошлого года. Дама живо обернулась, с любопытством взглянула на говорившую и сейчас же вмешалась в разговор.

– Извините, пожалуйста, вы ищете мебели? Какой мебели? Вы в нашем городе ничего не найдете.

– Как же это? – растерянно сказала Вера. – Ведь не могу же я в пустой квартире... Хотя бы самое необходимое...

– Позвольте вас спросить, вы недавно приехали?

– Вчера только. И в нашей квартире единственный стул... Я, право, не знаю, что делать...

– Вы, верно, жена нового учителя, петербургского магистра? – угадала дама. – Вы поместились в новеньком доме? Не удивляйтесь, душенька: мы живем по-семейному, все друг про друга знаем. Позвольте рекомендоваться – жена члена здешнего окружного суда, Ламаринова. Очень приятно познакомиться, вашу фамилию я знаю. Вы, душенька, верно, недавно замужем? А с мебелью мы устроим; у меня есть лишняя кровать, стол, даже несколько стульев; остальные столяру, пожалуй, можно заказать...

– Но как же это? Мне совестно...

– Пожалуйста, без церемоний! Пойдемте скорее ко мне. Все равно, вам бы пришлось визиты делать, знакомиться; ведь у нас главное – судейское общество; инспектор прогимназии – с нами же всегда, а учителя там эти... ну, да они все престранные...

Болтая без умолку, Ламаринова увлекла Веру к себе, где их встретила на дворе целая ватага здоровых детей; они отобрали мебель, велели отвезти, а так как Вера торопилась домой устраиваться – m-me Ламаринова простерла свою любезность до того, что отправилась с ней, помогала устанавливать мебель и сама приколачивала кисею на окна.

– Да у вас будет премило, душенька! – болтала она. – Походите, я вам цветов на окна пришлю, у меня есть...

Вере было неловко. Она не знала, что делать, нужно ли и как нужно благодарить... В три часа Ламаринова исчезла, расцеловав Веру и взяв с нее обещание явиться в гости как можно скорее – и с супругом. Вера села у окна, усталая, но довольная своими комнатками.

В четыре часа в передней раздался голос Шилаева. Вера бросилась к мужу, хотела рассказать ему свои приключения, – но вдруг заметила, что он вернулся не один. С ним был седой низенький господин, остриженный под гребенку, с портфелем. Шилаев назвал его Пузыревским, представляя Вере.

Вера присмирела. Она сказала только:

– Посмотри, как мне удалось.

Шилаев оглянул комнаты и равнодушно произнес:

– А!

Затем все трое сели обедать. Павел Павлович говорил с Пузыревским, – который оказался учителем математики, – о прогимназии, об инспекторе. Перешли на учеников, на систему преподавания... Пузыревский со всем соглашался, охотно сплетничал и смеялся по-стариковски, на букву «э». Вера все время молчала.

После обеда, когда Вера стала надеяться, что Пузыревский уйдет, – он вдруг встал и хлопотливо обратился к Шилаеву:

– Ну, однако, нам с вами пора. Я Бегрову обещал, что приведу вас к восьми: надо же вам с сослуживцем познакомиться; со всеми уж сегодня. Посидим вечерок. Потолкуйте с ним; он дельный малый, да.

Шилаев встал. Вера подошла к нему.

– Ты уходишь, Павлуша? – сказала она тихонько.

– Да. А что?

– Нельзя тебе остаться? Весь день сегодня... я все одна...

И не знаю, как ты...

Павлу Павловичу стало неловко. И жаль Веру. Но он вспомнил, что не должен поддаваться нежностям, ни на чем не основанным. Уступи раз – уступишь и второй, и третий...

– Что делать? – произнес он, сдвигая брови. – Мне самому хотелось бы остаться с тобой, но следует идти. Прощай, ложись, не дожидайся меня.

Оставшись одна, Вера прошла в маленькую спальню, которую она так заботливо убирала и куда он даже не заглянул – легла ничком на свою кровать и горько заплакала. Она чувствовала себя очень одинокой. И жаловаться было некому. Да и не знала она, на что жаловаться, не умела и себе сказать, почему ей так больно.

ХІІІ

Жизнь Павла Павловича в Хотинске сложилась совершенно не так, как он предполагал. Отношения его с товарищами, с учениками, со знакомыми, отношения с Верой – все, до последних мелочей, было иное, и такое неожиданно иное, что Павел Павлович еще не успел опомниться, уяснить себе происходящее, понять, следует ли им огорчаться и какие принимать меры. Во-первых – как инспектор, так и все учителя встретили его и отнесли к нему с величайшим почтением, не лишенным некоторого подобострастия. Им было известно, что Шилаев – почти магистр, у профессоров на прекрасном счету, имеет в Петербурге протекцию; на его переселение в глушь они смотрели, как на прихоть молодого человека, у которого в голове еще «бродит». Инспектор, впрочем, выразил предположение, что Шилаев хочет вдали от столичного шума написать диссертацию. Сам Павел Павлович о причинах своего поселения в Хотинске почему-то молчал. Он познакомился через инспектора с судейским об-

ществом. И там его приняли с распростертыми объятиями. Он был из Петербурга! Оттуда, где люди живут, а не служат, где приказывают, изобретают, дают законы, которым здесь повинуются. Что же делается там, на воздухе, среди людей? Нет ли новой правды? Нет ли нового счастья?

Шилаев видел это ожидание вокруг него – и ему часто делалось неловко. Один раз, за ужином у председателя суда, среди довольно большого общества (исключительно мужского), Шилаев стал говорить. Выпитое вино сделало его откровеннее. Он говорил о том, как он хотел идти в сельские учителя, говорил, что и сюда приехал, желая дела, работы «настоящей», в поте лица, что нет другой правды и другого счастья, кроме сознания, что накормил голодного, что служишь общему благу, и не словами – а всем существом своим...

Шилаев одушевился – но слушатели его затихли. Против таких слов нечего было возражать. Да, это была сама правда. Так жить следовало, и прекрасно, благородно жить так, но... это все знали, и давно знали, и можно ли ждать от этого чего-нибудь нового, счастливого, скорого? Неужели и там, в Петербурге, и вообще на белом свете еще нет новой правды, еще ни к чему не пришли, не увидели света более яркого, более сильного, ослепительного? Неужели у них новым и истинным все еще кажется то, что и здесь уже не ново, к чему давно привыкли и уже не ждут от него скорого счастья? Кто и не думал этого словами – тот чувствовал просто скуку и потерю интереса к новому знакомому. Ничто не измени-

лось с его приездом: он такой же, как все, прекрасный, благородный человек – но ведь разве мало и здесь хотинских прекрасных людей?

Шилаев видел, что в нем разочаровались, и решился «наплевать» на общество. Это ему не удалось. Самую меньшую часть времени у него занимали уроки. Он преподавал русскую грамматику в двух классах – да и то не каждый день. Мальчишки были маленькие, грамматики не любили (да и любить-то ее трудно) и Шилаев видел, что тут действительнейшее средство – «колы», и он исправно воздвигал их в журнальных клетках. Остальное время Шилаев проводил у «судейских», директора; несколько раз ходил на охоту, которую страстно любил. У прокурора была целая псарня; он подарил Шилаеву славного легавого щенка. Потом Павла Павловича стали приглашать на частные уроки. Сперва он отказывался, но его так упрашивали, что он согласился и посещал несколько домов.

Веруне решительно нечего было делать. Даже хозяйство – крошечное и незамысловатое – не требовало никаких забот. Муж уходил с утра. Вера вставала, не торопясь, пила кофе и, кое-как одевшись, отправлялась к своей приятельнице Ламариновой, у которой и проводила большую часть дня. С другими Вера хотя и была знакома, но, по своей застенчивости, близко сойтись не успела.

Павел Павлович не говорил больше с Веруней ни о чем, кроме домашних дел. Боясь потерять свое влияние над нею,

он упорно избегал всяких нежностей и казался суровым. И Веруня кончила тем, что не могла без страха слышать его шагов, боялась его голоса. А между тем она и сама не знала, чего она боится: он никогда не сказал ей грубого слова.

К концу зимы Вера почувствовала себя беременной. Она принялась плакать и долго не решалась сказать мужу об этом обстоятельстве. И не сказала бы, если б он сам не заметил и не спросил ее.

Получив утвердительный ответ, за которым последовали рыдания, – Павел Павлович не обрадовался и не огорчился. Он поцеловал жену и сказал, что ей следует беречься, а плакать не о чем, ибо это в порядке вещей.

– Да... но я... – выговорила Веруня сквозь слезы, – я хотела... работать, помогать тебе... помнишь, мы прежде говорили... я всегда была готова, а теперь эта болезнь...

Брови у Шилаева сдвинулись, он побледнел. Давно, давно его мучили тупые укоры совести, медленная и неясная боль при мысли, что жизнь его ни одной чертой не похожа на ту, которую он себе представлял. И единственное возражение, которое он делал себе самому, – что его положение временное; конечно, он сделал ошибку, приняв место в хотинской прогимназии, и не в его власти изменить общий строй жизни в уездном городе. Но только что он перейдет в село, в настоящую крестьянскую школу, к простым, бедным, темным людям – все изменится: и жизнь, и он сам. Он подошел к Вере и погладил ее по голове.

– Полно! – сказал он ласковым голосом. – К тому времени, как мы уедем отсюда, когда твое дело, может быть, понадобится – ты выздоровеешь и все будет хорошо.

XIV

Лето проходило пыльное, жаркое. Когда кончились занятия в гимназии, Шилаев хотел было съездить в губернский город, разузнать там что-нибудь насчет своего перевода, но так и не собрался до августа. Писал он к профессору. Тот ему ответил очень скоро и обещал хлопотать. Спрашивал, между прочим, как подвигается диссертация. Точно он не знал, что Шилаев поехал работать, делать настоящее дело, а не углубляться в кабинетные занятия!

Шилаев посещал знакомых, продолжал давать частные уроки, ходил на охоту... и старался как можно меньше проводить время дома, потому что характер Веруни, под влиянием болезни, резко переменялся и сделался просто невыносимым. Это было, конечно, временное состояние, и она сама страдала больше других.

На нее находили вспышки бессмысленной ревности, которую она не смела высказывать, но не замечать которой было невозможно. Шилаев пробовал объясняться с женой, действовал и равнодушием, и строгостью – ничто не помогало. Мучительно для Веруни было воспоминание о хорошенькой девочке Тоне, о которой Шилаев рассказывал жене в вагоне.

– А что, Павлуша, – начинала обыкновенно Веруня покойным, даже веселым голосом, – эта девочка умненькая была... помнишь, твоя невеста нареченная?

– Не помню, – отзывался Шилаев угрюмо. – Шесть лет прошло, можно и забыть.

– А как ты думаешь, почему она за твоего дядю вышла, восемнадцати лет за старика? Может быть, она тебя до сих пор любит, а? Не с досады ли?

– Она вышла замуж раньше, чем я женился, – коротко ответил Павел Павлович.

– Ну, все-таки, ей уж ясно было, что на тебя нельзя рассчитывать... А что, ты ее очень любил, Павлуша? А когда разлюбил, не знаешь? А если встретишься с ней, то что? Я думаю, почувствуешь волнение?

– Не знаю.

– Не знаешь? Может быть, любишь ее и до сих пор!

– Вера, это невыносимо! В который раз ты меня спрашиваешь об этой глупости? Я тебе извиняю, потому что ты больна, но ведь всему есть предел!

Вера вспыхивала, начинала плакать, потом рыдать, просить прощения за свои глупые мысли. Но через день опять начиналось то же, или шли усиленные расспросы о дочерях председателя – и Шилаев видел, что она мучится нестерпимо, подозревая, не влюблен ли он в одну из дочерей председателя.

Никогда Шилаеву не приходило в голову изменять жене.

На женщин он весьма мало обращал внимания, а тем более па здешних барышень. Жену он любил и счел бы подлостью завести любовную историю и обманывать ее. Но теперь на него часто находили порывы негодования, ненависти к Веруне, – больной, некрасивой и опустившейся, измученной своими собственными подозрениями, дрожащей перед ним и все-таки делающей ему сцены. Скука, бесполезность и несправедливость этих сцен раздражали его до крайности. К тому же, вечно подозреваемый в измене, он сам невольно стал смотреть на себя, как на способного изменить, стал бояться, следить за собой и думать об измене.

Один раз, за ранним обедом (они обедали в два часа) Шилаев с Веруней сильно поссорились. Веруня, как оказалось, подозревала мужа в любовной связи с сестрой инспектора. Эта сестра была черная, сухая старая дева, даже не похожая на женщину. Шилаев видел ее только раз. Он вспылил и прикрикнул на Веру. Она, захлебываясь слезами, выскочила из-за стола, схватила шляпку и пальто и сказала, что уходит, уходит и не вернется, и пусть он ее не ищет... Шилаев хотел идти за нею, но потом рассудил лучше оставить ее в покое; он знал, что она отправляется к своей приятельнице Ламариновой и вернется, как только успокоится.

Ясное августовское солнце светило в окна сквозь герань и мускус и отражалось на некрашеном полу желтыми пятнами. По безлюдной улице гуляли куры и молодой петух надрылся, пробуя свой голос. Из кухни пришла плотная, черно-

бровая девка Домаха, давно заменившая пьяницу Устинью, и стала прибирать недоеденное жаркое. Павел Павлович рассеянно взглянул на Домаху. Вокруг головы у нее был обмотан красный платок; к нему она прикрепилла желтые ногти и две георгины. Круглое загорелое лицо ее, с выражением тупого равнодушия и с капельками пота на лбу, казалось довольно красивым. Шилаеву невольно бросились в глаза ее крепкие, до колен голые ноги, выставлявшиеся из-под синей заправки, и высокая грудь, приподнимающая в двух местах сорочку из серого холста.

Шилаев глядел, ни о чем определенно не думая, и только холодок физического желания пробежал у него вдоль спины.

Раньше, в продолжение полугода, он смотрел на Домаху, как на стол или стену; но теперь, возбужденный вечными разговорами о любовных отношениях, о его воображаемых изменах – он чувствовал себя незащищенным, близким к греху.

И когда Домаха потянулась через него, собирая вилки и ножи – он вдруг схватил ее поперек тела и посадил к себе на колени. Он сжимал ее все крепче, молча, с покрасневшим от возбуждения лицом. В тупых глазах Домахи сначала мелькнула тень удивления, а потом – некоторой веселости и удовольствия. Однако, она вырвалась от барина и, сказав что-то похожее на: «да ну-те вас!» отправилась к двери. В одной руке она несла стакан, в другой скомканную скатерть. Шилаев настиг девушку на пороге и опять сжал ее, целуя беспрерыв-

но в затылок и в шею. Ни одного слова не было произнесено. В комнате слышались только возня и тяжелое дыхание. Домаха отдалась ему с готовностью...

Едва понимая, что случилось, Шилаев сел на ближний стул. Домаха подобрала скатерть и скользнула в кухню. Солнце светило по-прежнему ярко сквозь герань и мускусы. Никакого беспорядка не произошло в комнате. А в душе Павла Павловича не было ни малейшего угрызения совести. Напротив, ему сделалось детски-весело и бодро.

Но это продолжалось всего одну минуту. Именно отсутствие угрызений совести и кольнуло его. Неужели он уже может делать то, что называет подлостью – и не страдать? Да, но подлость ли это?..

Последняя мысль особенно возмутила Павла Павловича. Что это? Он уже сомневается в несомненном? Неужели он в самом деле так гадок, что осмеливается сомневаться в том, в чем прежде был уверен? Но мысли не оставляли его: что же такое «подлость»? И прав ли он в своем разделении мира на черное и белое, на подлое и честное?

Он взял шляпу и, даже не велев Домахе запереть за собою дверь, отправился в город к Ламариновой, за женой.

XV

Все как будто вошло в свою колею, когда у Павла Павловича начались занятия в прогимназии. Он принялся за ра-

боту с усердием и жаром; вздумал вводить новую систему преподавания – несколько раз у него даже происходили споры с инспектором. Но, несмотря на усердие Павла Павловича, мальчишки по-прежнему терпеть не могли грамматики, а умирять их по-прежнему можно было только журнальными колами, изъять которые Павел Павлович не решался.

Инспектор и все учителя изъевляли свое расположение Шилаеву. Он хотел, чтобы его любили, и, казалось, достиг этого. Но был один старенький учитель чистописания, Иван Данилович Резинин, расположения которого Павел Павлович никак не мог заслужить. Впрочем, было неизвестно, к кому расположен Иван Данилович. Маленький, с широким старым лицом, с седой щетиной на подбородке, в зеленом вицмундиришке – он являлся откуда-то в назначенный час, всегда угрюмый и неразговорчивый, давал урок – и опять исчезал. Под белыми густыми бровями, в глубоких впадинах, у Ивана Даниловича мерцали и светились совсем молодые глаза. Эти глаза придавали ему странный, немного страшный вид, но вместе и какую-то привлекательность.

Шилаева Иван Данилович не любил, и избегал больше, чем других, без всякой видимой причины.

Сцены между Веруней и ее мужем стали реже. Он не отвечал ей грубо и с раздражением, как прежде, но предупредительно успокаивал ее, был даже с нею нежен и добродушен. Единственный укор совести, который испытывал Павел Павлович, – это что у него совсем не было укоров совести. Ему

искренно нравилась Домаха и гораздо больше, чем больная и кислая жена, хотя жену он любил, а Домаху нет. Домаха была молчалива, совершенно нетребовательна, послушна и здорова. И Павел Павлович даже не задумался ни разу: происходила ли скрытность и услужливость Домахи от ее внутренних достоинств, или просто от крайней глупости?

Ламаринова, через Веруню, передала Павлу Павловичу, что она может ему рекомендовать прекрасный урок. Шилаев, по настоянию Веры, которая умоляла его не упускать случая и не обижать ее приятельницы – на другой же день отправился по адресу. В переулке довольно скверном, но зато среди прекраснейшего сада, стоял дом, больше похожий на помещичью усадьбу, чем на городское жилище. Внутри все было красиво, роскошно, даже изящно, но как-то холодно. В комнатах не чувствовалось веселья и света. Шилаева встретила дама лет тридцати восьми, одетая просто. У нее было странное, почти красивое лицо, но с чертами слишком правильными и слишком резкими. Брови, широкие и черные (она была брюнетка) сходились над тонким носом. Манеры у Софьи Александровны Рудницкой оказались очень хорошие. Она была светски проста и любезна. Заниматься следовало с ее единственным сыном, восьмилетним мальчиком.

Скоро Шилаев узнал, что жизнь Софьи Александровны была не из веселых. Муж ее, Рудницкий, прежде помещик и страшный богач, шесть лет лежал без ног и почти без языка. И в течение всех шести лет Софья Александровна жи-

ла совершенно одиноко среди своего мрачного комфорта. Самые злые языки не могли сказать про нее ничего дурного. Софья Александровна любила сына, восьмилетнего Колю, такой любовью, которой не следует любить детей. Но она чувствовала, что Коля – единственная нить, связывающая ее с живыми. Весь запас сил и смысл существования заключались у нее в сыне и вне этого круга она естественно умирала – и не хотела умирать... Шилаев угадал это и с любопытством присматривался к странной женщине. Несмотря на то, что Софья Александровна скоро стала относиться к нему искренно и дружески, несмотря на ее действительно безумную любовь к сыну – она ему упорно казалась женщиной сухой, эгоистичной и беспощадной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.